



АННА ВЕЖБИЦКАЯ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ
УНИВЕРСАЛИИ
И ОПИСАНИЕ ЯЗЫКОВ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ
СЕМАНТИКА

*

КЛЮЧЕВЫЕ
КОНЦЕПТЫ
КУЛЬТУР

*

СЦЕНАРИИ
ПОВЕДЕНИЯ

С Е У

Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI – Budapest) и Института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF – Moscow)

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 97-04-16428

Вежбицкая Анна

В 26 Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А. Д. Шмелева под ред. Т. В. Булыгиной. — М.: «Языки русской культуры», 1999. — I-XII, 780 с., 1 ил.

ISBN 5-7859-0032-7

В книге собран ряд работ Анны Вежбицкой, в совокупности иллюстрирующих различные аспекты применения языка элементарных концептов и семантических универсалий к всестороннему описанию языка и культуры. На основе эмпирических сопоставительных исследований Вежбицкая демонстрирует «духовное единство человечества», которое манифестируется в многообразии конкретных реализаций. В частности, в книге рассматриваются такие темы, как грамматическая семантика, анализ ключевых концептов различных культур, культурно обусловленные специарии поведения.

ББК 81.031

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshlev.msk.su), only the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-7859-0032-7



9 785785 900325 >

© Анна Вежбицкая, 1999
© Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев.
Предисловие, 1999
© А. Д. Шмелев. Перевод с англ., 1999
© А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика.
Культура», 1995
© В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Оглавление

<i>Предисловие</i>	vii
------------------------------	-----

I. Из книги «Семантика: примитивы и универсалии»

1. Введение	3
14. Семантическая основа грамматического описания	
и типология: переходность и возвратность	44
Литература	76

II. Семантика грамматики

Что значит имя существительное? (или: Чем существительные отличаются по значению от прилагательных?)	91
Литература	131

Лексические прототипы как универсальное основание межъязыковой идентификации «частей речи»	134
Литература	168

Семантика английских каузативных конструкций в универсально-типологической перспективе	171
Литература	221

Редупликация в итальянском языке: кросс-культурная прагматика и иллокутивная семантика	224
Литература	257

III. Из книги «Понимание культур через посредство ключевых слов»

1. Введение	263
2. Словарный состав как ключ к этносоциологии и психологии культуры: модели «дружбы» в разных культурах	306

3. Словарный состав как ключ к этнофилософии, истории и политике: «Свобода» в латинском, английском, русском и польском языках.	434
Литература	484
IV. Лексическая семантика в культурно-сопоставительном аспекте	
«Грусть» и «гнев» в русском языке: неуниверсальность так называемых «базовых человеческих эмоций»	503
Литература	524
Выражение эмоций в русском языке: заметки по поводу «Русско-английского словаря коллокаций, относящихся к человеческому телу»	526
Литература	545
Angst	547
Литература	607
Семантика междометия	611
Литература	647
V. Лексика и прагматика в культурно-сопоставительном аспекте	
Японские культурные сценарии: психология и «грамматика» культуры	653
Литература	679
Немецкие «культурные сценарии»: общественные знаки как ключ к пониманию общественных отношений и культурных ценностей	682
Литература	727
Значение Иисусовых притч: семантический подход к Евангелиям	730
Литература	771
Указатель семантических толкований	775
Библиографическая справка	777

I

**Из книги
СЕМАНТИКА:
ПРИМИТИВЫ И УНИВЕРСАЛИИ**



Введение

1. Язык и значение

Язык — это инструмент для передачи значения. Структура этого инструмента отражает его функцию, и только в свете этой функции он может быть понят надлежащим образом. Исследовать язык, не обращаясь к значению, это все равно что изучать дорожные знаки с точки зрения их физических характеристик (каков их вес, каким типом краски они покрашены и т. п.) или же изучать структуру глаза, не говоря ни слова о зрении.

Как ни странно, многие лингвисты исследуют язык именно таким образом. Наука о языке, в которой значению в лучшем случае отводится абсолютно маргинальное место, есть аномалия и aberrация (что само по себе может послужить увлекательным предметом исследования для будущих историков лингвистики), и, разумеется, не все современные лингвисты подходят к языку с этих позиций. Тем не менее, в университетских программах, принятых сегодня многими лингвистическими факультетами в разных странах мира, «формальный синтаксис» занимает гораздо более центральное положение по сравнению с семантикой (исследованием значений), а сама семантика все еще нередко третируется как маргинальная область.

Особенно большое влияние на формирование «лингвистики без значения» оказали два американских лингвиста XX века: Леонард Блумфилд и Ноэм Хомский.

Блумфилд (в отличие от своего великого современника и сооснователя американской лингвистики Эдуарда Сепира) страшился значения и был склонен избавиться от него путем отнесения его исследования к ведению других дисциплин, таких как социология или психология. Причиной этого страха было то, что Блумфилд хотел основать лингвистику как науку, но при этом считал, что значение не может изучаться с той же степенью строгости, как языковые звуки и формы. Бихевиоризм Блумфилда вынуждал его считать любое обращение к идеям, концептам, мыслям или разуму ненаучным; термин «ментализм» употреблялся им и многими другими влиятельными лингвиста-

ми его поколения как бранное слово¹. Рэнди Аллен Харрис, автор книги «The Linguistics Wars» (Harris 1993: 27—8), выразил это следующим образом: «Идеи Блумфилда определили характер лингвистики тех времен: что она [лингвистика] является описательной и таксономической наукой, подобной зоологии, геологии и астрономии; что умозрительные размышления означают мистицизм и выход за пределы науки; что на все существенные психологические вопросы (узнавание, знание и пользование языком) даст ответы бихевиоризм; что значение лежит вне сферы научного исследования».

Часто говорят в защиту Блумфилда, что гонителем значения из храма лингвистики был не он сам, а «блумфилдианцы» и «постблумфилдианцы» (и особенно наставник Хомского, Зеллиг Харрис). Например, Мэтьюз (Matthews 1943: 114) указывает, что даже «в одной из своих последних общих статей он (Блумфилд) продолжал со всей определенностью утверждать, что в “языке формы не могут быть отделены от значений”» (1943: 114). Но есть все основания говорить, что постблумфилдианцы всего лишь довели блумфилдовскую позицию, по сути своей (хотя и непоследовательно) антисемантическую, до ее логического завершения.

Мэтьюз пытается объяснить, как получилось, что преемники Блумфилда «пришли к убеждению, что формы могут и должны описываться без обращения к значению», и «почему, принимая теорию, в которой разделение формы и значения считалось аксиомой, они были так уверены в том, что являются его продолжателями». Он замечает, что, несмотря на декларации относительно центральности значения, а также важности его исследования, те требования, которые Блумфилд предъявлял к его эффективному описанию, закрывали все двери перед научным исследованием (Matthews 1993: 115). Мэтьюз пытается дистанцироваться от этого заключения, но, на мой взгляд, оно неизбежно.

Блумфилд не «отвергал» значение в том смысле, чтобы избегать какого бы то ни было упоминания о нем в лингвистическом описании, но он и в самом деле хотел исключить семантические соображения из лингвистического анализа. Например, он высмеивал идею о том, что грамматическая категория числа (ед. число versus множ. число) имеет под собой семантическое основание и может быть определена путем обращения к значению: «в школьной грамматике класс существительных множественного числа определяется с помощью значения ‘более, чем одно’ (лицо, место, вещь), но кто сможет на основании этого догадаться, что *oats* ‘овес’ — это

¹ Как указал близкий сотрудник Сепира, Моррис Сводеш (Swadesh 1941: 59), другой убежденный бихевиорист, Туодделл, «критиковал Сепира как менталиста, занимающегося “непознанным и непознаваемым разумом”».

множественное число, а *wheat* 'пшеница' — это число единственное? Общие значения классов, подобно всем другим значениям, не поддаются доступному лингвисту определению» (Bloomfield 1933/1935: 266)².

Сам Блумфилд отрицал, что он когда-либо намеревался решиться на такое «предприятие, чтобы изучать язык без значения, просто как бессмысленный звук» (письмо к Фризу, цитируемое в Hymes & Fought 1975: 1009); однако идея его книги «*Language*» звучала не менее громко и отчетливо: внутри «лингвистической науки» для семантики места нет, по крайней мере в обозримом будущем.

Мы определили значение языковой формы как ситуацию, в которой говорящий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слушающего... Ситуации, которые побуждают человека говорить, охватывают все предметы и события, которые происходят в его мире. Чтобы дать научно точное определение значения для каждой формы языка, мы должны были бы иметь точные научные сведения обо всем, что окружает говорящего в его мире. Однако объем человеческой памяти чрезвычайно мал. Мы можем правильно определить значение той или иной языковой формы лишь в том случае, если это значение относится к чему-либо, о чем мы обладаем достаточными научными познаниями. Мы можем определить названия минералов, например, в терминах химии или минералогии, когда мы говорим, что обычным значением английского слова *salt* 'соль' является 'поваренная соль (NaCl)'; мы можем определить названия растений или животных с помощью специальных терминов из области ботаники или зоологии, но у нас нет способа точно определить такие слова, как *love* 'любовь' или *hate* 'ненависть', связанные с ситуациями, которые еще не были расклассифицированы,— а ведь таких слов подавляющее большинство...

Определение значений является, таким образом, уязвимым звеном в науке о языке и останется таковым до тех пор, пока человеческие познания не сделают огромного шага вперед по сравнению с современным их состоянием. На практике мы определяем значение той или иной формы, где это возможно, с помощью терминов какой-либо другой науки. Там же, где это невозможно, мы прибегаем к окольным приемам³ (Bloomfield 1933/1935: 139—40).

² Удивительно, что Блумфилд не обратил никакого внимания на тот факт, что слово *oats* — это не то «множественное число», которое контрастирует с единственным (подобно, например, тому, как *dogs* контрастирует с *dog*), и на то, что оно не принадлежит на самом деле к тому же «формальному классу», что и *dogs*. «Формальный класс», к которому принадлежит *oats*, а также его инвариантное значение обсуждаются в главе 13 [книги *Semantics: Primes and Universals*]. (См. также Wierzbicka 1988.)

³ То, что Блумфилд называет « NaCl » «обычным значением» английского слова *salt*, как и его замечания по поводу названий растений и животных, является яркой иллюстрацией того, что он не отличал научное знание от «обычного значе-

Итак, для Блумфилда значение могло быть объектом референции, но не объектом исследования, и, зная его «антименталистскую», бихевиористскую концепцию значения, мы едва ли могли ожидать чего-то другого.

Как отмечено Хаймсом и Фоутом (Hymes and Fought 1975: 1010), «Блумфилд включил значение в свою концепцию языковой структуры, но не в свою недолговечную лингвистическую теорию... скептицизм в отношении практической возможности эксплицитным образом инкорпорировать значение в лингвистический анализ привел к определенным сдвигам в теории... к тому, что блумфилдианцы стали... всецело опираться на дистрибуционные модели».

В результате «когнитивной революции» конца 50-х — начала 60-х годов был изгнан (или это так казалось) призрак бихевиоризма, а мышление (*mind*) и значение стали центральным предметом интереса гуманитарных наук вообще и лингвистики в частности. Процитирую одного из главных персонажей «когнитивной революции» Джерома Брунера: «Эта революция была направлена на то, чтобы вернуть 'интеллект' ('*mind*') в лоно гуманитарных наук после долгой холодной зимы объективизма» (Bruner 1990: 1). Для Брунера «интеллект» (*«mind»*) тесно связан со значением: «Позвольте мне рассказать вам сначала, как я и мои друзья понимали смысл революции, которая произошла здесь в конце пятидесятых годов. Это была, думали мы, напряженная борьба за то, чтобы возвести значение в ранг центрального концепта психологии — не стимулы и реакции, не непосредственно наблюдаемое поведение, не биологические импульсы и их трансформация, а именно значение» (с. 2). Но Брунер, по его собственным словам, не разделяет «обычных представлений о неуклонно движущемся только вперед прогрессе» (с.1); по его мнению, «этая революция в настоящее время превратилась в несколько разных течений, уклонившихся от первоначального русла и маргинальных относительно того импульса, который ее вызвал. В самом деле, то, как она была техницизована, скорее даже подрывает этот первоначальный импульс» (с. 1). Из поля зрения выпало не что иное, как значение.

Очень рано, например, акцент стал перемещаться от «значения» к «информации», от создания значения к обработке информации. Это глубоко различные вещи. Ключевым фактором, участвовавшим в названном сдвиге, было введение компьютеризации как господствующей метафоры и компьютабельности как необходимого свойства хорошей теоретической модели. Информация индифферентна к значению (с. 4).

ния». Подробное обсуждение этих вопросов см. в главах 11 и 12. Что до названий эмоций (таких как *love* и *hate*) — см. главу 5 [книги *Semantics: Primes and Universals*].

Очень скоро компьютация стала моделью мышления (*mind*), а вместо концепта значения возник концепт компьютабельности (с. 6).

Было неизбежно, что вместе с появлением компьютации как метафоры новой когнитивной науки и компьютабельности как необходимого, если не достаточно-го, критерия теории, с которой можно работать в рамках новой науки, вновь появятся рецидивы застарелой болезни, связанной с неприятием ментализма (с. 8).

Брунер порицает «когнитивную революцию» за ее измену своему прежнему взгляду на значение как на главный предмет интереса, за то, что она предпочла значению 'обработку информации' и компьютацию (с. 137), и настаивает на том, «чтобы психология оставила попытки быть 'свободной от значения' (*meaning-free*) в своей системе объяснения» (с. 20).

Но если «когнитивная революция», отдалившись от значения, тем самым предала психологию, то что можно сказать о лингвистике, в которой ранние многообещающие ссылки на «мышление» (как в книге Хомского «Язык и мышление») привели лишь к преувеличенному увлечению разными «формализмами» и в которой «свободный от значения» синтаксис господствовал в течение нескольких десятилетий, узурпировав место, по праву принадлежащее исследованию значения? Оливер Сакс суммирует «прегрешения» «когнитивной революции» следующим образом: «Брунер описывает, как этот первоначальный импульс был извращен и вытеснен понятиями компьютации, обработки информации и т. д., а также идеей компьютерной (и хомскианской) лингвистики относительно возможности отделения синтаксиса языка от его семантики» (Sacks 1993: 48). Сакс решительно поддерживает позицию Брунера и комментирует: «Многие исследователи, начиная от Буля с его "Законами мышления" второй половины XIX века и кончая пионерами искусственного интеллекта нашего времени, придерживались живучего представления о том, будто можно иметь интеллект (*intelligence*) или язык, основанный на чистой логике, без вмешательства чего бы то ни было столь же путаного, как значение».

К сожалению, как отмечает Сакс, это живучее представление разделял Ноэм Хомский, главный *spiritus movens* «когнитивной революции» в лингвистике, влияние которого в этой области едва ли можно переоценить.

Несмотря на свою менталистскую, антиблумфилдовскую позицию, в отношении к значению Хомский всегда оставался (и остается) блумфилдианцем. Как и у Блумфилда, «у него... было глубокое методологическое отвращение к значению, и его работа придала новую силу

одному из ключевых элементов блумфилдовской политики в отношении значения: в формальном анализе его следует избегать» (R. A. Harris 1993: 99).

Я согласна с Харрисом (Harris 1993: 252), что, хотя некоторые «предпочитают рассматривать вклад Хомского в лингвистику как последний вздох блумфилдианства», такой взгляд является, «несомненно, слишком узким». Но следует также согласиться с теми критиками Хомского, которые отмечают, что, хотя он в некотором роде и нарушил блумфилдовское табу на все, связанное с мышлением (*mind*), провозглашенный им ментализм оказался столь же враждебным к исследованию значения, как и блумфилдовский бихевиоризм. Я процитирую одного из критиков (Edelman 1992: 243):

Хомский был пионером одного из наиболее популярных и влиятельных подходов к этим критическим вопросам [о характере связи языка и мышления]. В его подходе, связанном с формальными системами, главное допущение состоит в том, что синтаксические правила независимы от семантики. Язык, в соответствии с этим взглядом, независим от всех прочих когнитивных явлений. Я не могу согласиться с этим представлением.

Набор правил, сформулированных в соответствии с идеей, что грамматика есть формальная система, по своей сути алгоритмичен. В такой системе значение никак не используется. Так называемая генеративная грамматика Хомского... исходит из допущения, что синтаксис независим от семантики и что языковая способность независима от внешних когнитивных способностей. Это определение грамматики делает его неуязвимым, поскольку его нельзя опровергнуть путем обращения к фактам, касающимся познавательной деятельности вообще. Язык, определенный как множество цепочек неинтерпретированных символов, порожденное продукционными правилами, подобен компьютерному языку.

Это возвращает нас к ранее цитированным замечаниям Брунера. Как он указывает (Bruner 1990: 1), «новая когнитивная наука, дитя [когнитивной] революции, достигла больших технических успехов ценой дегуманизации того самого концепта, прежний статус которого в психологии она стремилась восстановить, и ... тем самым оторвала значительную часть психологии от гуманитарных и других наук о человеке». То же самое можно сказать о лингвистике.

Когда я говорю о «лингвистике без значения», то это не значит, что я недооцениваю успехи работы в области лингвистической семантики, достигнутые в течение нескольких последних десятилетий. Я также не хочу ставить под сомнение важность других лингвистических направлений, стремящихся выйти за пределы тех ограничений, которые были наложены на нашу науку генеративной грамматикой. Хар-

рис (Harris 1993) и другие вправе радоваться наблюдаемому в последние одно-два десятилетия «посвежению лингвистики» (*«greening of linguistics»*), сопровождаемому динамическим развитием функциональной лингвистики, когнитивной лингвистики, прагматики и т. д. В то же время, однако, я думаю, что антисемантическая ориентация Блумфилда и Хомского все еще, подобно черной тени, нависает над лингвистикой. Достаточное основание для этого утверждения дает, в частности, тот факт, что в действующих программах многих лингвистических факультетов «формальному синтаксису» до сих пор уделяется преимущественное внимание в ущерб исследованию языка как инструмента передачи значения.

В самых последних версиях хомскианской лингвистики обращение к значению как будто уже не находится под запретом. Но это не отменяет ее существенно антисемантической направленности. Хомский больше не утверждает, что, «если действительно будет доказано, что значение играет роль в лингвистическом анализе, то... основанию лингвистической теории будет нанесен серьезный удар» (Chomsky 1955: 141). Но он тем не менее остается таким, каким был всегда: «глубоким и стойким синтаксическим фундаменталистом» (R. A. Harris 1993: 139). Мэттьюз суммирует свои комментарии по поводу места, отводимого значению в недавней работе Хомского, следующим образом: «Какое же место остается на долю описания значения? Хомский, как всегда, прежде всего исследователь синтаксиса, или 'грамматики' в традиционном смысле. Поэтому нельзя ждать, что семантике будет посвящено что-то большее, чем программные декларации и попутные замечания» (Matthews 1993: 245).

Семантическая пустота, образованная «синтаксическим фундаментализмом» хомскианской грамматики, не была заполнена и так называемой «формальной семантикой», которой также отводится заметное место в учебных программах многих лингвистических факультетов.

Несмотря на свое название, «формальная семантика» (или «теоретико-модельная семантика») не стремится обнаруживать и описывать значения, закодированные в естественном языке, или проводить межъязыковые и межкультурные сопоставительные исследования значений. Скорее, она видит свою цель в том, чтобы переводить определенные тщательно отобранные типы предложений в форму логического исчисления. Ее интересуют не значения (в смысле закодированных в языке концептуальных структур), а логические свойства предложений, такие как следствие, противоречие, логическая эквивалентность, т. е., по выражению одной из недавних работ (Chierchia and

McConnell-Ginet 1990: 11), не «когнитивная значимость» (*cognitive significance*), а «информационная значимость» (*informational significance*); ср. цитированные выше замечания Брунера (Bruner 1990: 4) по поводу сдвига от «значения» к «информации». Как пишет один известный формальный семантик (принадлежащий к школе «грамматики Монтегю»), «теоретико-модельное содержание слова (the model theoretic intension of a word) в принципе не имеет *ровно никакого* отношения к тому, что происходит в голове человека, использующего это слово» (Dowty 1978: 379). Объяснив, что в теоретико-модельной семантике значение предложения рассматривается как «множество возможных миров», Даути признает, что «могут возникнуть резонные сомнения в том, что множества возможных миров вообще имеют какое бы то ни было отношение к психологическому процессу понимания предложения», и допускает, что «не существует такого смысла, в котором можно было бы понимать утверждение о том, что человек имеет ментальный доступ ко “всем возможным мирам, которые только существуют”» (376).

Таким образом, хомскианцы любят говорить о «мышлении» (*mind*), но не желают изучать «значение» (*meaning*), а «формальные семантики» любят говорить о «значении», но только в смысле возможных миров или истинностных условий, а не в смысле концептуальных структур. Одна черта, объединяющая обе школы,— это то, что они придают большое значение своей «формальности». Преимущественное внимание, уделяемое формальным моделям в ущерб исследованию значения и понимания, заставляет вновь вспомнить замечания Брунера по поводу психологии: «Сегодня уже просто неуместно отказывать значению в праве претендовать на центральное положение в теории психологии на основании его ‘туманности’ или ‘неопределенности’ (*'vagueness'*). Неопределенность [естественно-языкового] значения была в центре внимания вчерашнего формального логика. Мы это уже проходили» (Bruner 1990: 65).

Несмотря на все обещания, связанные с «когнитивной революцией» в гуманитарных науках вообще и с «хомскианской революцией» в лингвистике, сейчас, на исходе столетия, значение (не «значение» формального логика, но значение, лежащее в основе человеческого познания, коммуникации и культуры) все еще рассматривается многими лингвистами как что-то беспорядочное и являющееся «уязвимым звеном в науке о языке» (Bloomfield 1933/1935: 140). Данная книга надеется продемонстрировать, что это не обязательно должно быть так.

2. Семантические элементы (или примитивы)

Коротко говоря, в человеческом языке разные звуки имеют разное значение. Изучать это соответствие определенных звуков определенным значениям и значит изучать язык.

Леонард Блумфилд

(Bloomfield 1933/1935: 27)

Как можно признавать, что изучать язык значит изучать соответствия между звуками и значениями, и в то же время стараться сохранять лингвистику максимально «свободной от значения»? Сам Блумфилд придерживался этой противоречивой позиции по вполне понятной причине: он хотел, чтобы лингвистика была серьезной и строгой дисциплиной — «наукой», а в то время было неясно, какими строгими и «научными» методами может изучаться семантика (если это вообще возможно). Собственно, даже сегодня многие проповедники центральной роли значения в лингвистике как будто не имеют ничего против, если о значении говорят расплывчато, неопределенno, *ad hoc*, без опоры на какую бы то ни было методологическую систему. Здесь я должна сказать, что я согласна с Блумфилдом в том, что если мы действительно хотим пользоваться строгими методами при исследовании соответствий между звуками и значениями (или между формами и значениями), наши стандарты строгости и последовательности в применении к рассуждениям о значении должны быть столь же высокими и точными, как те, что мы используем применительно к рассуждениям о звуках и формах.

Как я пытаюсь показать вот уже четверть века, возможность создания строгого и в то же время достаточно тонкого языка, который можно было бы использовать, говоря о значении, связана с ключевым понятием элементарных смыслов (или семантических примитивов).

Рассмотрим это на следующем примере. Две видные исследовательницы детского языка, Люсия Френч и Катерина Нельсон, опубликовавшие очень ценную работу, посвященную усвоению значения (French and Nelson 1985), начинают свое обсуждение концепта *if* ('если') словами: «трудно предложить точное определение слова *if*». Затем после краткой дискуссии они делают такое заключение: «Основным значением *if* как в логике, так и в естественном языке является значение импликации» (с. 38). В этих высказываниях отражены два распространенных убеждения. Первое, что можно определить все слова — включая *if*, — и второе, что в том случае, когда слово трудно поддается

определению, желательно подыскать какое-нибудь научное слово латинского происхождения (такое как *импликация*). На мой взгляд, эти убеждения не только ложны, но объединенными усилиями полностью блокируют возможность семантического анализа. Невозможно определить все слова, поскольку сама идея 'определения' предполагает существование не только определяемого (*definiendum*), но и определяющего (*definiens*) (или, скорее, множества определяющих).

Те элементы, которые могут использоваться для определения значения слов (или любые другие значения), сами не могут быть определены; их следует принять в качестве «*indefinibilia*», то есть как семантически элементарные единицы, в терминах которых могут быть последовательно представлены все сложные (неэлементарные) значения. Определение, которое пытается объяснить простое слово *if* (если) через сложное слово *implication* (импликация) бросает вызов основному принципу здравого семантического анализа, выдвинутому Аристотелем более двух тысячелетий назад (Aristotle 1937: 141^a):

Прежде всего надо смотреть, не обстоит ли дело так, что определение было дано не через предшествующее [или то, что первое] и более известное. Так как определение дается ради познания того, о чем речь, познаем же мы не на основании первого попавшегося, а из предшествующего и более известного... то очевидно, что тот, кто дает определение не через предшествующее и более известное, не определяет.

Можно возразить, что то, что ясно одному лицу, может быть неясно другому и что, следовательно, никакой абсолютный порядок степеней семантической простоты не может быть установлен. У Аристотеля, однако, был ответ на это возражение: решающую роль играет вопрос не о том, что более понятно конкретным индивидам, а о том, что является семантически более базовым и тем самым ингерентно более доступным для понимания:

Ибо одному бывает более известным одно, другому — другое, но не всем одно и то же... Далее, одним и тем же в одно время более известно одно, в другое — другое... так что об одном и том же нельзя дать всегда одно и то же определение, если утверждать, что определение должно быть дано через более известное каждому. Таким образом, ясно, что определение следует давать не через это, а через то, что более известно вообще. Ибо только так получалось бы всегда одно и то же определение.

«Абсолютный порядок понимания» зависит от семантической сложности. Например, нельзя понять концепты «обещать» и «разоблачать» без предварительного понимания концепта «говорить», поскольку обе-

щание и разоблачение основаны на «говорении». Подобным образом нельзя понять концепты «дейксис», «демонстрация», «остенсивность» без предварительного понимания концепта «это», на котором они построены; и нельзя понять концепт «импликация» без предварительного понимания семантически более базового концепта «если».

Если мне кто-нибудь покажет ребенка, который понимает и умеет употреблять слово *implication*, но еще не научился понимать и использовать слово *if*, я признаю, что все в семантике относительно. Но до тех пор я буду придерживаться мнения, что Аристотель был прав и что, несмотря на всю вариативность восприятия значения разными индивидами, существует также и «абсолютный порядок понимания», основанный на внутренних семантических отношениях между словами.

Таким образом, одно из главных представленных в этой книге положений семантической теории и семантической практики состоит в следующем: значение нельзя описать, не пользуясь некоторым набором элементарных смыслов; кто-то может, конечно, полагать, что он описывает значение, переводя одно неизвестное в другое неизвестное (как в издевательском определении Паскаля (Pascal 1667/1954: 589): «Свет — это световое движение светящихся тел»), однако ничего путного из этого на самом деле не получится.

Без определенного множества примитивов все описания значений оказываются реально или потенциально круговыми (как когда, например, *to demand* [приблизительно 'требовать'] определяется как '*to request firmly*' [приблизительно 'твердо просить'], а *to request* [приблизительно 'просить'] — как '*to demand gently*' [приблизительно 'мягко требовать']; см. Wierzbicka 1987a: 4). Любой набор семантических элементов лучше, чем никакой, поскольку без такого набора семантическое описание имеет внутренне круговой характер и в конечном счете оказывается неприемлемым. Это, однако, не значит, что несущественно, с каким именно набором элементов мы работаем, лишь бы такой вообще существовал. Отнюдь нет: ценность семантических описаний зависит от качества выбора лежащего в их основе множества семантических примитивов. По этой причине поиски оптимального набора примитивов должны быть для семантика делом первостепенной важности. «‘Оптимального’ с какой точки зрения?» — спросят скептики. С точки зрения понимания. Семантика есть наука о понимании, а для того, чтобы что-то понять, мы должны свести неизвестное к известному, темное к ясному, требующее толкования к самоочевидному.

Как я отмечала в моей книге «*Semantic Primitives*» (Wierzbicka 1972: 3), создатели и исследователи искусственных языков склонны всячески

подчеркивать произвольность «элементарных терминов» [«primitive terms»]. Например, Нельсон Гудман писал: «Тот или иной термин выбирается в качестве элементарного не потому, что он является неопределяемым; скорее наоборот, то, что термин был выбран в качестве элементарного для данной системы, является причиной того, что он оказывается неопределяемым... Вообще термины, принятые данной системой как элементарные, вполне могут быть определяемыми в какой-либо другой системе. Не существует абсолютно элементарных терминов, как не существует одного-единственного правильного выбора таких терминов» (Goodman 1951: 57).

Но мысль о том, что все это приложимо и к семантике естественного языка, ошибочна, ее принятие — верный способ обеспечить застой в семантическом исследовании. Разумеется, лингвист волен изобрести произвольные множества примитивов и «определять» все, что ему благорассудится, в терминах таких множеств. Но это мало продвинуло бы нас на пути понимания человеческого общения и познания. Процитируем Лейбница:

Если нет ничего такого, что было бы понятно само по себе, то вообще ничего никогда не может быть понято. Поскольку то, что может быть понято через что-то другое, может быть понято только в той мере, в какой может быть понято это другое, и так далее; соответственно, мы можем сказать, что поняли нечто, только тогда, когда мы разбили это на части так, что каждая из частей понятна сама по себе (Leibniz 1903/1961: 430; цитируется в переводе с английского).

Семантика может иметь объяснительную силу, только если ей удастся «определить» (или истолковать) сложные и темные значения с помощью простых и самопонятных. Если человеческое существо может понять какое бы то ни было высказывание (свое собственное или принадлежащее кому-то другому), то это лишь потому, что эти высказывания, так сказать, построены из простых элементов, которые понятны сами по себе. Этот важный момент, выпавший из поля зрения современной лингвистики, постоянно подчеркивался в сочинениях великих мыслителей XVII века, таких как Декарт, Паскаль, Арно и Лейбниц. Например, Декарт писал:

...Есть много вещей, которые мы делаем более темными, желая их определить, ибо вследствие чрезвычайной простоты и ясности, нам невозможно постигать их лучше, чем самих по себе. Больше того, к числу величайших ошибок, какие можно допустить в науках, следует причислить, быть может, ошибки тех, кто хочет определять то, что должно только просто знать, и кто не может ни отличить ясное от темного, ни того, что в целях познания требует и заслуживает определения, от того, что отлично может быть познано само по себе (Descartes 1701/1931: 324).

Для Декарта, стало быть, как и для Лейбница, не существовало проблемы «выбора» некоторого произвольного множества примитивов. Существенно было установить, какие концепты являются настолько ясными, что никакие объяснения не могут сделать их еще более понятными, и объяснить с их помощью все остальное.

Этот основной принцип был применен прежде всего к лексической семантике и был сформулирован в терминах определяемости слова. Например, Паскаль писал:

Ясно, что есть слова, которые не могут быть определены; и если бы природа не компенсировала эту нашу неспособность, дав всем людям сходное понимание, все наши выражения оказались бы спутанными; напротив, эти слова употребляются с той же степенью уверенности, как если бы они сами были недвусмысленно объяснены; ибо природа сама дала нам, без слов, более точное их понимание, чем можно было бы достичь при помощи искусства толкования (Pascal 1667/1954: 580).

Аналогично Арно:

Наше первое замечание состоит в том, что не следует пытаться определить все слова, так как это нередко оказывается бесполезным и даже невозможным... Ибо, когда имеющееся у всех людей понятие о какой-либо вещи является отчетливым и у всех, кто понимает язык, возникает одно и то же понятие, когда они слышат некоторое слово, его определение оказывается ненужным, поскольку цель определения, состоящая в том, чтобы слово было связано с ясной и четкой идеей, уже достигнута. Слова, которые выражают представления о простых вещах, понятны всем и не требуют определения...

Более того, я говорю, что было бы невозможно определить все слова. Ибо, чтобы определить слово, необходимо прибегать к другим словам, обозначающим понятие, с которым мы хотим связать это слово; а если мы захотим определить слова, использованные при определении данного, нам придется прибегать еще и к другим словам, и так до бесконечности. Необходимо поэтому остановиться, когда мы дойдем до *простейших терминов*, которые мы уже не будем определять; стремление определить слишком многое не меньший грех, чем недостаточные определения, ибо и то и другое ведет к неясности, которой мы как раз и хотели избежать (Arnauld 1662/1964: 86—7; выделено Вежбицкой).

Хомский, несмотря на все его заявления относительно того, что генеративная грамматика является продолжением «картезианской лингвистики» (см. Chomsky 1966), ни единым словом не упоминает этой центральной линии картезианской (а также лейбницианской) теории языка и мышления. (См. также ссылки на «картезианскую концепцию» языка и познания в более поздних сочинениях Хомского, например: Chomsky 1991a.)

Мой собственный интерес, направленный на поиски неарбитрарных семантических примитивов, был возбужден посвященной этому

сюжету лекцией, прочитанной польским лингвистом Анджеем Богушавским в Варшавском университете в 1965 году. «Золотая мечта» мыслителей XVII века, которая не могла быть реализована в рамках философии и которая была поэтому отвергнута как утопия, может быть реализована, утверждал Богушавский, если к ней подойти с лингвистической, а не с чисто философской точки зрения. Опыт и находки современной лингвистики (как эмпирические, так и теоретические) дали возможность по-новому подойти к проблеме концептуальных примитивов и поставить ее на повестку дня эмпирической науки.

Лейбница теория «алфавита человеческих мыслей» (Leibniz 1903/1961: 4350) могла быть отвергнута как утопия, поскольку он никогда не предлагал ничего похожего на полный список предполагаемых примитивов (впрочем, в своей неопубликованной работе он оставил несколько частичных набросков, см. Leibniz 1903). Как написал один современный комментатор, указавший на трудности, связанные с предложенным направлением исследования: «Учитывая эти обстоятельства, можно понять тот факт, что Лейбниц последовательно избегал естественного вопроса относительно количества и типа фундаментальных концептов. Подход был бы более привлекательным, если бы можно было составить хоть какое-то представление о том, как мог бы выглядеть список фундаментальных концептов» (Martin 1964: 25).

Лучшие ключи к пониманию того, как мог бы выглядеть список фундаментальных концептов, дает нам исследование языков. В этом смысле у лингвистики есть шанс достичь успеха там, где философское умозрение потерпело фиаско. Эта книга, основанная на лингвистических изысканиях, проводившихся (моими коллегами и мною самой) в течение трех десятилетий, предлагает-таки полный (пусть гипотетический) перечень фундаментальных человеческих концептов, способных генерировать все остальные концепты (см. главу 2*). Существенно, что этот список претендует также на то, чтобы быть одновременно перечнем лексических универсалий — момент, который мы обсудим в следующем разделе.

3. Лексические универсалии

В теории, принятой в этой книге, с самого начала была выдвинута гипотеза, что элементарные концепты могут быть обнаружены путем

* Книги *Semantics: Primes and Universals*. — Прим. перев.

тщательного анализа любого естественного языка, а также и то, что идентифицированные таким способом наборы примитивов будут «соппадать» (*«match»*) и что, собственно, каждый такой набор есть не что иное, как одна лингвоспецифичная манифестация универсального набора фундаментальных человеческих концептов.

Например, предполагалось, что концепты '*someone*', '*something*' и '*want*', неопределяемые в английском, окажутся неопределяемыми и в других языках и что в других языках тоже найдутся слова (или связанные морфемы) для выражения этих концептов.

Это предположение было основано на представлении о том, что фундаментальные человеческие концепты являются врожденными, или, другими словами, что они являются частью генетического наследства человека, и что, если это так, нет никаких оснований полагать, что они будут различаться от одного человеческого сообщества к другому.

Оно также было основано на опыте успешной коммуникации между носителями разных языков. Поскольку неопределяемые концепты — примитивы — это фундамент, на котором строится семантическая система того или иного языка, легко представить, что, если бы такой фундамент был в каждом случае особым, отличным от других, то носители разных языков были бы обитающими в разных измерениях узниками различных концептуальных систем, лишенными всякой возможности какого бы то ни было контакта с узниками других концептуальных тюрем. Это противоречит опыту человечества, который, напротив, указывает как на различия, так и на сходства в человеческой концептуализации мира и который говорит нам, что, при всей трудности и определенной ограниченности межкультурной коммуникации, она все же не является абсолютно невозможной.

С этим опытом согласуется допущение, что в основе всех языков, сколь угодно различных, лежат изоморфные множества семантических элементов.

До последнего времени данное допущение базировалось, главным образом, на теоретических соображениях, а не на эмпирических исследованиях различных языков мира. Эта ситуация, однако, изменилась с публикацией книги *«Semantic and Lexical Universals»* (Goddard and Wierzbicka 1994b) — собрания работ, в которых концептуальные примитивы, первоначально постулированные на базе небольшой горстки языков, были подвергнуты систематическому исследованию на материале широкого круга языков разных семей и разных континентов. Языки, описанные в данном томе, включают следующие: эве, вос-